Я ХОТЕЛ ИМ КИНО ПОКАЗАТЬ

Ломали весело, как у нас это всегда бывает.

Рано утром собрались в саду вокруг сучковатого чурбака, на давнем срезе которого выпукло проступали белёсые годовые кольца. На эту столешницу поместились бутылка, четвертинка и купленные в сельпо на сдачу две безвкусных помидорины, а также горстка соли на обрывке газеты, буханка серого хлеба местной выпечки. Ну и замызганные разнокалиберные пластиковые стаканчики, разумеется. Ещё было полколяски краковской колбасы, загодя порубленной перочинным ножом и потому похожей на побеждённого змия в исполнении скульптора Церетели.

Накануне Анна, как только выгнала корову, полила огород и садовый травостой из шланга. Поэтому Валентин теперь направился к грядкам по мокрой траве, высоко поднимая ноги в старых калошах. Он выбрал и сорвал четыре пупырчатых, с остатками жёлтых цветков, огурца. Вернувшись к застолью, нагнулся, повозил, зажав в кулаке, этот урожай туда-сюда по влажной зелени и обтёр каждый огурчик об гаражные мазутные штаны.

Разлили сразу и поровну, чтобы не оттягивать начало работы. Зажевав, Витёк Золотов сходил к старому дому и, прижав к животу, принёс для себя четыре печных кирпича. Сковырнул мыском кроссовки бугорок, установил на землю кирпичи ровным столбиком и сел на них.

– Ноги не казённые… Дай-ка, Валя, твою.

Он закурил, и с прищуром, будто прицеливаясь во что-то, выпустил дым прямо вперёд тугой струёй.

– А я ведь на той неделе мешок самосада выбросил.

– На кой?

– Ну как, Володя, на кой… – он обернулся к старшему из Юдаевых, –   
полтора года он у меня на печке пролежал, чую, уже не того. А в Лукине Сморчков мне и говорит: ты его, мол, ароматизируй. Мы тогда с ним выпили маненько, я пришёл и сразу хренак! флакон одеколона на табак-то. Ну, подсушил, закурил – чуть кишки не вывернуло!

– Дурак-то простой! – засмеялся младший из Юдаевых, Валентин.

– Ну. Я потом Сморчкова встретил, морду, говорю, что ль, тебе набить? А он щерится: ты б ещё свиного навоза туда, если своих мозгов нету. Надо ж было душицы сушёной добавить, вишнёвую кору в мясорубке промолоть или папирос свежих пачки две в самосад этот распотрошить, я так делаю, сам ты не дотюмкал? Обскорблял, гад.

Мы посмеялись, а Витёк спросил с заботливым выражением на загорелой обветренной физиономии:

– Валя, ещё-то будем?

– Давай дело сперва, а то с чердака-то упадёшь. Полсруба раскатаем, и в обед сбегает кто-нить. Женька вон самый молодой.

Я кивнул.

И мы пошли ломать старый юдаевский дом.

\* \* \*

Купили его после войны уже столетним. Лиственничные брёвна в срубе лежали плотно, увесисто. На места всех высверленных сучков были забиты круглые затычки. И дед, дедока, рассказывал, что эти пробки для того, чтоб сучки в реке не загнили. Говорил, будто в том ещё веке, совсем давно, дом плавал по Оке и по Волге, брёвна были корпусом большой баржи. И от воды лиственница только набирала прочности.

В самом начале шестидесятых я уже научился читать. Сени, сохраняя от непогоды, огибали старинный сруб буквой Г, по правую руку их дощатые стены все были уклеены страшными плакатами. Мой дядя Саша, член парткома совхоза, разжился ими где-то на семинаре по гражданской обороне. Плакаты живописали последствия атомного взрыва –   
оранжево-серый гриб клубился в лиловом пространстве. Люди с одинаковыми искажёнными от ужаса лицами на отдельных картинках бежали, тщетно загораживались от разрыва, прятались в подвалах. Очень беспокоило то, что в соответствии с концепцией наглядных пособий любые деревянные стены почти не защищали от радиации, спасал лишь толстенный слой бетона, а лучше свинца, каковых в деревне отродясь не бывало. На отдельном плакате изображались травмы, ожоги, слепота и разные стадии лучевой болезни. Насмотревшись и начитавшись всего этого, я, встревоженный и беззащитный, поскорее выскакивал из сумрачных сеней на яркое солнце, распугивая на бегу копошащихся у калитки глупых кур, совсем не подозревавших о периоде полураспада урана.

На песочке у прозрачной речки Мурки, что журчала почти под окнами дома, а лучше на берегах озера и Оки, ужас растворялся, уходил, и будущее снова виделось безоблачным.

\* \* \*

– Эй, чего растопырился, принимай!

Володька из избы двумя расставленными ладонями распахнул скрипнувшие оконные рамы и принялся выкладывать на подоконник пыльные закопчённые кирпичи от разваленной печки.

С утра разделились на две бригады. Мы с двоюродным братом выволокли из избы в сад остатки мебели, после чего принялись перетаскивать ценные вековые кирпичи в штабель возле тесового, необходимого всем и каждому, кособокого строеньица с пропиленным в дверке сердечком.

А другой двоюродный, Валентин, вместе с соседом Витьком Золотовым орудовали наверху. Они ещё вчера, пока я был на рыбалке, содрали с просевшей крыши листы железа и побросали их с шелестом и грохотом в заросли крапивы.

Теперь орудовали пилой и топором, сокрушая стропила. Из-за их возни с потолка в приговорённую избу сыпались труха и пыль. Володькины мелкие кудри а-ля Анжела Дэвис от этого приобрели седоватый оттенок, но он давно смирился и уже не стряхивал это крошево. А лишь часто и сердито моргал, когда ниспадала очередная пыльная волна.

– Как ты там сказал-то: чего тут брать?

Мужики наверху уселись на край, спустив ноги и стуча пятками по чёрно-коричневому срубу. Закурили и засмеялись, вспомнив рассказанный мной анекдот про то самое строеньице с сердечком на дверке. Дело, значит, такое. Стоит на полгоры сортир без двери, там угнездился мужик, делает своё дело. А внизу по дороге идёт соседка: «Петрович, охальник, что ж ты творишь-то? Хоть бы дверь навесил!» Тот привстал, придерживая штаны, удивлённо покрутил головой: «Дверь? А чего тут брать-то!»

Володька тоже захихикал. Я поставил ногу на сгнившую завалинку, забрал с подоконника последние пять кирпичей и, стараясь не выказывать напряжения, понёс эти двадцать кило, придерживая верхний кирпич оцарапанным подбородком. Створки непроизвольно захлопнулись, брат изнутри мягко надавил на них растопыренными ладонями, и окно вновь распахнулось.

\* \* \*

1 июня 1965 года в 11 часов 40 минут мне купили кинокамеру. Узкоплёночный «Спорт» произвёл фурор в обществе сверстников. Уже входило в моду ношение по улице орущих на всю катушку «вег» и «спидол», но это было совсем иное. Камера, хоть и стоила всего двадцатку, была настоящей.

Она стрекотала, тянула плёнку «2х8», бобину в конце съёмки следовало перевернуть и переставить, и камера прогоняла её другим краем к объективу, а после проявки в лаборатории 16-миллиметровую плёнку разрезали пополам по всей длине, получалось два фильма в восемь миллиметров шириной. Если удавалось угадать диафрагму, получались вполне качественные кадры.

Некоторое время родители копили мне на кинопроектор и в итоге приобрели «Луч», тоже самый дешёвый в стране: цена его равнялась всего лишь стоимости ходовой кинокамеры «Кварц» – семидесяти рублям. Когда я выходил со своим «Спортом» на улицу, пацаны с завистью следовали по пятам и просили дать подержать и разрешить нажать на кнопочку.

Затык получался с батарейками. Плоские дефицитные элементы были непредсказуемы, как политика тогдашнего Китая. Одно произведение отечественной энергетики могло геройски обслужить две, а то и три катушки плёнки, а следующее сдохнуть в первую же минуту. Я с остервенением извлекал прямоугольную штуку из кинокамеры, лизал для проверки электроды (те щекотали и кислили язык), впихивал батарейку обратно и пальцем прокручивал моторчик, стремясь запустить его. В итоге жизнь научила выпрашивать у мамы раз в два месяца сразу рубль и закупать на него восемь коварных батареек про запас.

В то же лето я привёз свою кинокамеру в Высокие Поляны. Снимал всё подряд, особенно экзотических по городским понятиям овец, гусей, коров и петухов. Попадали в поле зрения видоискателя и люди. Наконец, дошло до эпохалки. Мы с другом Женьком выкрали у моей бабки-бабоки простыню, взяли на дворе косу-литовку и отправились снимать фильм ужасов «Призрак Высокополянского кладбища». Привлекли ещё приезжих братовьёв Коляныча с Саньком и местного нашего приятеля Колю Колотунова, давно опередившего всех нас городских по части курева и приобщения к спиртному. Понятно, что белая простыня и коса предназначались вершившему возмездие и шагавшему по надгробиям Призраку, а всё остальное снималось в натуральном антураже: якобы поиски клада среди могил, якобы драки за него с беготнёй по погосту и раскачиванием крестов… Безобразие, в общем.

Вечером бабока засекла моё возвращение с киносессии. Я как раз решил заснять на остатки плёнки пышную клумбу с георгинами перед домом. Сам себе скомандовал «Мотор!», и тут бабушка в доме перестала орудовать ухватом перед печкой, подошла к окну и, расставив ладошки, тихо распахнула его створки. Глядя поверх георгинов, она выговаривала мне, употребляя образные выражения «шеломя», «скирдоша» и «лётует весь день, собак гоняет». А я снимал.

По осени плёнки проявили. Я смотал «Призрака…» на отдельную новенькую бобину, написал Женьку в город Жданов и Колянычу с Саньком в Горьковскую область восторженные рецензии на киношедевр, а Коле Колотунову в деревню ничего не написал: тот всегда уходил в подполье до следующего нашего летнего сбора и не отвечал на письма. Хвостик плёнки с бабокой я не знал, куда деть. Он был короткий. Я до лучших времён однажды склеил его в кольцо и заправил в свой «Луч». Бабка, появившись на белой крашеной двери, куда проецировалось изображение, подходила к окну и, растопырив ладошки, распахивала его створки…

Бабка подходила к окну и, растопырив ладошки, распахивала его створки…

Бабка подходила к окну и, растопырив ладошки, распахивала его створки…

На беззвучной плёнке стало видно, что она ругает меня, а сама едва сдерживает улыбку.

\* \* \*

Дело шло к концу. Я как самый молодой вновь добавил до требуемой суммы и сбегал в ларёк в третий раз. Будь где-нибудь в городском гастрономе продавщица знакомая, она бы непременно одёрнула: «Что-то вы, ребята, зачастили!..»

В деревне же каждая прикупленная поллитра вызывала понимание снующей перед прилавком Татьяны и всё большую зависть покорно сидящих на лавочке перед сельпо мужиков.

Мы с Валентином, Володькой и Витьком Золотовым опять собрались вокруг садового пенька. Потом я рассказал им, что в старину, когда строили дом, непременно клали под нижний венец серебряный рубль на счастье.

Тема возбудила. Заговорили о богатстве, о том, сколько может стоить такой рубль сейчас. Я просветил подельников насчёт разной нумизматической ценности той или иной монеты, и Валька рассудил, что тут в деревне серебряные рубли были редкостью, следовательно, в сруб должны были заложить именно редкую монету. Витёк Золотов добавил, что народ здесь испокон обретался не жлобистый, значит, можно рассчитывать и на золотой червонец, а почему нет?!.

Здоровенные брёвна выносили вчетвером и складывали, покряхтывая и матерясь, у забора поближе к речке. Перед последним венцом вдумчиво покурили, выжидая, чтобы не спугнуть удачу. Но в итоге никаких драгоценностей в срубе не оказалось.

Валька пошерудил калошей в обнажившейся трухе и перегное, и буркнул: «Я же говорил, ни хрена тут нету». Хотя ничего подобного он не говорил. А Витёк Золотов догадался: «Верняк, что было. Только, наверное, до войны сруб перебирали и всё нашли до нас». На том и порешили.

\* \* \*

В конце шестидесятых я привёз в деревню кинопроектор и плёнки.

В те годы гражданская авиация полностью оправдывала своё название: самолёты летали в райцентры и крупные сёла, садились прямо на лугах. Столичный аэропорт «Быково» своей заметной провинциальностью и наличием множества чуть растерянных и небогато одетых пассажиров мог сравниться разве что с таким же толкучим и суетливым московским Казанским вокзалом.

Я ехал с чемоданом, заправленным, как у многих, в цветной чехол с рядом крупных пуговиц. В другой руке тащил коробку с кинопроектором, перевязанную бельевой верёвкой. Да ещё двумя пальцами цепко держал спиннинг.

Молодой пилот, выглядевший немногим старше меня, выполнял на рейсе обязанности и стюарда, и контролёра, и «чего спросят извольте». Он подсадил меня в «кукурузник», подтолкнув снизу чемодан и направив в дверцу отклонившееся вбок удилище.

– А это чо такое? Тушёнку, что ль, везёшь?

– Не-е… Это кино в деревню, проектор в коробке.

– Ну, – лётчик, кажется, не очень врубился, что за кино, однако на всякий случай посоветовал: –Ты держи его, не разбей.

Через полтора часа, пересчитав все воздушные ямы, самолёт приземлился в Касимове. Пассажиры оставили под лавками переполненные гигиенические пакеты и, выгрузившись, разбрелись по лётному полю, выискивая кто тень, кто лужайку почище.

Вскоре звонкий металлический голос, одинаковый во всех аэропортах, объявил посадку на Высокие Поляны.

Проблемы возникли с козой. Её везла от своей касимовской родни незнакомая мне полянская бабка и даже купила два билета по рублю себе и ей. Только после бабкиных клятвенных обещаний, что за пятнадцать минут полёта умница-козочка ничего такого на пол не наделает, животное затолкали на борт. И в самом деле, коза молча стояла в проходе, во время кренов сноровисто переступала копытами по прыщавому металлическому полу и злобно поглядывала на пассажиров, которых опять мутило и тошнило.

Вскоре перелетели Оку, сверху прозрачную до самого дна, и через пару минут четырёхкрылое чудо запрыгало по луговым кочкам на краю деревни.

В первый же вечер я собрал родню на сеанс. Смотрели «Призрака…», обижая меня невниманием – в самые, по моему разумению, кульминационные моменты, когда вся шобла азартно рубилась за невидимый клад, тётя Люся, например, говорила:

– Гляньте, у Ланиных могилки-то заросли, Шурока не ходит, что ль, совсем?

Оживлялись, когда видели на белой стене русской печки себя или других полянских. И всё равно укоряли:

– Ну вот что ты, Женька, нас наснимал страшных таких? Надо ж было одеться, причесаться!

– Ничего вы не понимаете, это правда жизни.

Зато в соседнем Лукине, куда мы с Женьком оттащили проектор и собрали всю молодёжь, показ произвёл фурор. «Призрака…» крутили три раза. Столько же – свежий шедевр предыдущих каникул «Мистер Вудсон в Высоких Полянах». Через три десятка лет похожий сюжет, но не с Женьком в главной роли и не в антураже деревенских амбаров, а с реальными жертвами и в городском варианте, разыграли с башнями-близнецами.

Вот только бабушку в окошке я никому в то лето показать не смог: маленький кусок плёнки был забыт дома на тумбочке во время тщательных и, казалось бы, продуманных сборов в деревню.

\* \* \*

Тогда, давным уже давно, первым умер совсем пацаном Колянычев младший брат Санёк, говорили, что облучился в армии. Потом сам Коляныч в своей захолустной Выксе отравился палёной водкой. А может, просто слишком сильно перебрал хорошей, качественной.

Потом подошла очередь стариков.

Когда принесли телеграмму из Высоких Полян, мама прочитала, опустилась на диванный валик и беззащитно зарыдала. Я вот этого совсем не понимал. То есть осознавал, что потеря, что горе, но реветь-то зачем? Бабушке ж было не двадцать лет, как вон Саньку. По молодым рыдать это понятно. А бабоке тогда было столько, сколько мне нынешнему, может быть, исполнится только через четверть века. Бабушка пожила. И уход её был ожидаемым.

Так, наверное, любой командир на войне рассуждал о безвозвратных потерях, не имея права и времени оплакивать лично каждого… Так вот мудро и здорово рассуждал и я сам с собой тогда, лет сорок назад…

\* \* \*

Прогнали стадо. Природа отходила от дневной жары, как от обморока. На месте бывшего старого дома коричневел посреди сада рыхлый прямоугольник.

Я скинул и бросил в траву рукавицы, устало опрокинулся на кучу осколков, отсортированных утром от годных для хозяйства кирпичей. Из-за множества мелких рёбер и выступов лежать спиной было неудобно, но и встать сил уже не оставалось.

Я огляделся: кучу осколков мы свалили аккурат в том месте, где в стене дома раньше было окно, которое бабушка когда-то, подойдя от печки, мягко распахнула растопыренными ладошками… Я опёрся на локти, приподнял голову и тихо заплакал. Валька подошёл, присел рядом в траву, широко разметав ноги в драных, пузырястых на коленках шароварах, протянул мне надорванную сбоку пачку «Примы» с высунувшейся сигаретой.

– Ну, капец, сделали, – удовлетворённо проговорил он. Мы помолчали, я вытер слёзы грязным пальцем. Валентин посмотрел на меня и закурил сам.

– Много выпил, – сказал он чуть погодя.

– Да, – ответил я.